

„Был май...“

Был май. Прекрасный месяц май. Я шел по переулку, по тому самому, где помещается Театр. Это был отличный, гладкий, любимый переулок, по которому непрерывно проезжали машины. Проезжая, они хлопали металлической крышкой, вделанкой в асфальт. «Может быть, это канализационная крышка, а может быть, крышка водопроводная», — размышлял я. Эти машины отчаянно кричали разными голосами, и каждый раз, как они кричали, сердце падало и подгибались ноги.

«Вот когда-нибудь крикнет так машина, а я возьму и умру», — думал я, тыча концом палки в тротуар и боясь смерти.

«Надо ускорить шаг, свернуть во двор, пройти во внутрь театра. Там уже не страшны машины, и весьма возможно, что я не умру».

Но свернуть во двор мне не удалось. Я увидел его. Он стоял, прислонившись к стене Театра и заложив ногу на ногу. Ноги эти были обуты в кроваво-рыжие туфли на пухлой подошве, над туфлями были толстые шерстяные чулки, а над чулками — шоколадного цвета пузырями штаны до колен. На нем не было пиджака. Вместо пиджака на нем была странная куртка, сделанная из замши, из которой некогда делали мужские кошельки. На груди — металлическая дорожка с пряжечкой, а на голове — женский берет с коротким хвостиком.

Это был молодой человек ослепительной красоты, с длинными ресницами, бодрыми глазами. Перед ним стояли пять человек актеров, одна актриса и один режиссер. Они преграждали путь в ворота.

Я снял шляпу и низко поклонился молодому человеку. Он приветствовал меня странным образом. Именно — сцепил ладони обеих рук, поднял их вверх и как бы зазвонил в невидимый колокол. Он посмотрел на меня пронзительно, лихо улыбаясь необыкновенной красоты глазами. Я смутился и уронил палку.

— Как поживаете? — спросил меня молодой человек.

Я поживал хорошо, мешали мне только машины своим адским криком, я что-то мямлил и криво надел шляпу.

Тут на меня обратилось всеобщее внимание.

— А вы как поживаете? — спросил я, причем мне показалось, что у меня распух язык.

— Хорошо! — ответил молодой человек.

— Он только что приехал из-за границы, — тихо сказал мне режиссер.

— Я читал вашу пьесу, — заговорил молодой человек сурово.

«Надо было мне другим ходом, через двор, в театр пойти», — подумал я тоскливо.

— Читал, — повторил молодой человек звучно.

— И как же вы нашли, Полиевкт Эдуардович? — спросил режиссер, не спуская глаз с молодого человека.

— Хорошо, — отрывисто сказал Полиевкт Эдуар-

довка, — хорошо. Третий акт надо переделать. Вторую картину из третьего акта надо выбросить, а первую перенести в четвертый акт. Тогда уж будет совсем хорошо.

— Пойдите-ка домой, да и перенесите, — шепнул мне режиссер и беспокойно подмигнул.

— Ну-с, продолжаю, — заговорил Полневкт Эдуардович. — И вот они врываются и арестовывают Ганса.

— Очень хорошо! Очень хорошо! — заметил режиссер. — Его надо арестовать, Ганса. Только не находите ли вы, что его лучше арестовать в предыдущей картине?

— Вздор! — ответил молодой человек. — Именно здесь его надо арестовать и нигде больше.

«Это заграничный рассказ, — подумал я. — Но только за что он так на Ганса озверел? Я хочу слушать заграничные рассказы, умру я или не умру».

Я потянулся к молодому человеку, стараясь не проронить ни слова. Душа моя раскисла, потому что дрогнуло в груди. Мне захотелось услышать про раскаленную Испанию. И чтоб сейчас заиграли на гитарах. Но ничего этого я не услышал. Молодой человек, терзая меня, продолжал рассказывать про несчастного Ганса. Мало того, что его арестовали, его еще и избili в участке. Но и этого мало — его посадили в тюрьму. Мало и этого — бедная старуха мать этого Ганса была выгнана с квартиры и ночевала на бульваре под дождем.

«Господи, какие мрачные вещи он рассказывает! И где он, на горе мое, встретился с этим Гансом за границей? И пройти в ворота нельзя, пока он не кончит про Ганса, потому что это невежливо — на самом интересном месте...»

Чем дальше в лес, тем больше дров. Ганса приговорили к каторжным работам, а мать его простудилась на бульваре и умерла. Мне хотелось нарзану, сердце замирало и падало, машины хлопали и рывка-

ли. Выяснилось, что на самом деле никакого Ганса не было, и молодой человек его не встречал, а просто он рассказывал третий акт своей пьесы. В четвертом акте мать перед смертью произнесла проклятие палачам, погубившим Ганса, и умерла. Мне показалось, что померкло солнце, я почувствовал себя несчастным.

Рядом оборванный человек играл на скрипке мажурку Венявского. Перед ним на тротуаре, в картузе, лежали медные пятаки. Несколько поодаль другой торговал жестяными мышами, и жестяные мыши на резинках проворно бегали по досточке.

— Вещь замечательная! — сказал режиссер. — Ждем, ждем, ждем с нетерпением!

Тут дешевая маленькая машина подкатила к воротам и остановилась.

— Ну, мне пора, — сказал молодой человек. — Товарищ Ермолай, к Герцену.

Необыкновенно мрачный Ермолай за стеклами задержал какими-то рычагами. Молодой человек покачал колокол, скрылся в каретке и беззвучно улетел. Немедленно перед его лицом вспыхнул зеленый глаз и пропустил каретку Ермолая. И молодой человек въехал прямо в солнце и исчез.

И я снял шляпу, и поклонился ему вслед, и купил жестяную мышь для мальчика, и спасся от машин, войдя во дворе в маленькую дверь, и там опять увидел режиссера, и он сказал мне:

— Ох, слушайте его. Вы слушайте его. Вы переделайте третью картину. Она — нехорошая картина. Большие недоразумения могут получиться из-за этой картины. Бог с ней, с третьей картиной!

И исчез май. И потом был июнь, июль. А потом наступила осень. И все дожди поливали этот переулок, и, беспокая сердце своим гулом, поворачивался круг на сцене, и ежедневно я умирал, и потом опять настал май.

Когда Михаил Булгаков диктовал эти страницы, ему представлялось начало нового большого произведения. Но произведения этого он не написал. Прошедшие десятилетия придали этим страницам завершенность. Теперь они воспринимаются не как набросок, не как фрагмент, а как законченное произведение — с самостоятельным сюжетом, началом и концовкой и характерной, свойственной только зрелой прозе Булгакова, интонацией. Перед нами — одно из иронических и гротескных произведений автобиографической прозы Булгакова, которую он писал всю жизнь и завершением которой стал так и не оконченный «Театральный роман».

«Был май...» написан 17 мая 1934 года. Елена Сергеевна Булгакова, писавшая под диктовку мужа, с присущей ей точностью отметила дату. Действие же произведения относится к предыдущему маю — маю 1933-го (с некоторой условностью, разумеет-

ся, поскольку это художественное произведение). Тогда, весной 1933 года, Булгаков переделывал для Художественного театра «Бег».

В автобиографической прозе Булгакова часты вкрапления литературных пародий и сатирические, но тем не менее узнаваемые портреты-шаржи литераторов. В центре данного произведения — шарж на пьесу Владимира Киршона «Суд». Пьеса была поставлена в апреле — мае 1933 года почти одновременно 2-м МХАТ и Ленинградским академическим театром драмы и тогда же опубликована в пятой книжке журнала «Новый мир». В художественном отношении, в драматургических принципах Михаил Булгаков и Владимир Киршон были далеки друг от друга. Заостренность шаржа можно объяснить в значительной степени именно этим. Но «Суд» был действительно слабой пьесой. Анатолий Васильевич Луначарский писал: «...положения в пьесе

„Суд“ выдуманы... действующие лица этой пьесы — «маски» — построены приблизительно по иронической схеме самого тов. Киршона: революционеры, контрреволюционеры, колеблющиеся элементы». В театральном репертуаре пьеса не удержалась.

Упоминание у Булгакова «раскаленной Испании», видимо, связано с испанскими очерками Михаила Кольцова и Ильи Эренбурга («Испанская весна» Кольцова печаталась в «Правде» в 1931 году и вышла отдельной книжкой в 1933-м; «Испания» Эренбурга — в 1932-м).

Оригинал публикуемого произведения хранится в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.

Публикация и послесловие
Лидии Яновской